

В. М. ТИХОМИРОВ

«КОМУ ПОВЕМ ПЕЧАЛЬ МОЮ?..»

(Павел Александров, Екатерина Эйгес и Сергей Есенин)

Те, кто помнит Павла Сергеевича Александрова, наверное, воскликнут: «Александров и Есенин! Что может быть общего между ними? Разве можно найти двух людей, более несходных, более противоположных, чем они?».

И ведь правда.

П. С. Александров принадлежал к тому редчайшему типу людей, которые «творят» свою жизнь, как произведение искусства, когда тщательно продумываются общий замысел и композиция, вырабатывается особый стиль, оттачиваются детали, и все это — с соблюдением гармонии, взвешенности и соразмерности. А жизнь С. А. Есенина, согласно свидетельствам решительно всех, оставивших о нем свои воспоминания, — это непредсказуемость, бесшабашность, вольница, сплошная гульба...



П. С. Александров. 1920-е гг.

— Павел Сергеевич! А вот Вы, что бы Вы взяли с собою в космос?

— Что за глупости, я бы туда и не полетел, — ответил П. С.

Но Володя настаивал:

— Ну, а если бы заставили, что бы Вы взяли?

И тогда П. С. изрек:

— Ну уж если бы заставили, я прежде всего взял бы с собою английскую соль.

А Есенин? Да что и говорить — какая уж там английская соль! Вся жизнь его состояла из сплошных нарушений. В ней так мало было постоянного — ничего, пожалуй, кроме любви к поэзии.

И еще одно. В те самые годы — в конце 50-х, когда мне посчастливилось познакомиться с А. Н. Колмогоровым и П. С. Александровым, последний имел репута-

Павел Сергеевич подчинял свою жизнь непререкаемым правилам, привычкам и обычаям. Над изголовьем его кровати всегда висела рельефная карта Крыма, которую в гимназические годы подарил ему отец; на столике у кровати всегда лежала старинная домашняя Библия. Он просыпался в одно и то же время, делал привычную гимнастику, подолгу занимался туалетом и водными процедурами. В строго определенное время принимал английскую соль для правильной работы желудка.

Лет тридцать пять тому назад — эти годы сейчас называют «началом космической эры» — в «Комсомолке» развернулась дискуссия: что взять с собой в космический полет. В дискуссии принимали участие по большей части девушки. Одни предлагали взять ветку сирени, другие — томик Есенина, третьи — популярную песню. Володя Пономарев, ученик П. С., тогда еще студент, прочитав все это, как-то спросил:

цию женоненавистника. Он тщательно заботился о поддержании этой репутации. Сатирические изображения женщин, подчеркивание их слабостей, особенно в восприятии и понимании искусства, были излюбленной темой его злословия. В его разговорах тех лет постоянно звучал такой мотив: «Он хороший юноша, но, к сожалению, женат».

А Есенин писал:

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве...

Или:

И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милой...

Ничего общего с Есениным в жизни у П. С. быть не могло.

Какая бездна простиралась между этими людьми, не так ли? Так думал и я. Но однажды...

Это произошло 11 августа 1979 г. Случившееся произвело на меня столь сильное впечатление, что я не поленился записать дату и некоторые подробности того дня.

Я приехал в то утро в Комаровку — дачное место под Москвой, где большую часть времени проводили П. С. Александров и А. Н. Колмогоров. После завтрака мы с П. С. вышли в сад. Начался разговор. Мы блуждали от одной темы к другой, ни на чем долго не задерживаясь, и вдруг сначала как-то едва-едва забрехала, а потом все более и более стала разрастаться, цепляясь за разные близкие нам проблемы, чеховская тема. (В ранней юности я очень любил Чехова, более всего — «Три сестры», и мог довольно сносно поддерживать разговор о его творчестве.) Среди рассказов, которые были особенно ему дороги, П. С. назвал «Тоску». Он прочитал эпиграф:

«Кому повею печаль мою?..», —

и вдруг голос его сорвался. Он умолк, вынул платок, вытер глаза, извинился и несколько минут молчал.

А затем начался долгий (длившийся, с перерывами на еду и сон, почти двое суток) монолог. П. С. рассказывал мне о своей жизни. И мне почудилось тогда, что именно меня на склоне своих лет П. С. избрал для сокровенной исповеди. Через некоторое время выяснилось, однако, что это далеко не так: многие фрагменты этой «сокровенной» беседы были записаны задолго до того А. П. Юшкевичем, который был вызван к П. С. специально для этой цели! П. С. хотелось донести до потомства определенные деликатные аспекты своих взаимоотношений с некоторыми коллегами. Но не только с А. П. Юшкевичем делился своими «особыми» воспоминаниями П. С. Кое-что сохранилось в памяти (или даже в магнитофонных записях) и у других людей. Многие рассказы, поведанные мне П. С. в те дни, были не чем иным, как типичными «пластинками», как любила выражаться Ахматова: «отработанными» устными рассказами, хоть и навеянными действительными событиями, но достаточно преобразованными в пользу рассказчика.

Эти рассказы П. С. интересны и для психолога, и для историка, но, по моему мнению, многие из них, особенно те, где рассказчик старается представить в невыгодном свете своего учителя Н. Н. Лузина, изображают события пристрастно и од-

носторонне (и в невыгодном свете рисуют прежде всего самого П. С.). Поэтому я посоветовал А. П. Юшкевичу не доводить свои записи до публикации. И А. П. согласился, он сдал их на хранение в Архив РАН: пусть пройдет какое-то время.

Здесь, однако, я хочу рассказать о небольшом фрагменте нашей с П. С. беседы, где нет никакой «политики отношений»: речь шла только о личном и о поэзии, а таких сюжетов я в других источниках не обнаружил. Мне представилось уместным написать об этом в тот момент, когда уже прошли торжества по поводу 100-летнего юбилея Сергея Есенина и недолго осталось ждать до 100-летнего юбилея самого Павла Сергеевича.

На есенинскую стезю наш разговор перешел после обсуждения темы, которой я никак не мог предвидеть, — темы женской судьбы.

И здесь П. С. проявил такое глубокое проникновение в человеческую и специфически женскую психологию, такую готовность к пониманию и сочувствию, такую душевную деликатность, что я не в силах был вымолвить ни слова, так и молчал, совершенно ошеломленный.

Основным лейтмотивом в этой теме была неизбежная, по убеждению П. С., трагичность женской судьбы (речь шла о духовно одаренных женщинах). Он говорил, что свои самые сокровенные душевные силы, свое здоровье, свой талант и свой труд женщина тратит на то, что столь часто оказывается как бы напрасным. Мужья гибнут. Или умирают. Или уходят. Дети вырастают. Если они оказались благополучны, то обычно становятся нечуткими, а если неудачны, то это безмерной тяжестью ложится на беспомощные уже плечи матери. Работа редко приносит женщине полное удовлетворение, чаще это обуза. И наступает одинокая, горькая старость, сопровождаемая нередко осознанием того, что жизнь была прожита напрасно.

Так рассуждал П. С. (но не я!), иллюстрируя свои мысли рассказом о многих женских судьбах, в которых картины несчастливой женской доли усугублялись еще кровавым фоном нашего безумного века.

П. С. поведал мне тогда историю своей сестры — Варвары Сергеевны. Любимый ею юноша, ее жених, погиб в первую мировую войну. Она навсегда осталась одинокой, искала утешения в религии, но так и не обрела душевного равновесия.

(Не могу удержаться от воспоминания. Уже после смерти П. С. я встретил как-то Варвару Сергеевну. Ей было больше девяноста лет. Почти слепая, она вынуждена была выходить на улицу — в магазин. Я подошел, назвался, поздоровался, спросил, помнит ли она меня. Она сказала: «Ну как же, Володя, конечно, помню». — и потом почти без перехода: «Володя! Мне очень страшно умирать! Мне очень страшно умирать!»)

И вдруг П. С. упомянул о своей жене.

— Как! Вы были женаты?? — невольно вырвалось у меня.

— Да, был женат.

Женой Павла Сергеевича была Екатерина Романовна Эйгес, сестра Александра Романовича Эйгеса — учителя математики и физики смоленской гимназии, где учился П. С. Александров, оказавшего очень большое влияние на судьбу П. С.: благодаря этому влиянию он стал математиком.

Отец Екатерины Романовны и Александра Романовича был выдающимся земским, затем городским врачом в Мценске, участником русско-турецкой войны, где вместе с Н. И. Пироговым впервые в истории медицины он применял анестезию. Мать переводила с немецкого (в частности, перевела «Страдания молодого Вертера» Гете). У них была большая семья — одиннадцать детей! Многие члены этой семьи в той или иной мере были связаны с литературой и искусством. Старший

сын, Константин, был композитором, он оставил воспоминания о Рахманинове и Танееве; Иосиф был музыковедом и литератором; Александр преподавал математику в Институте стали и сплавов и одновременно занимался литературной деятельностью. Всю жизнь он преклонялся перед Чеховым; он составил аннотированное издание писем Чехова и собрал интересные материалы по его биографии, в частности, касающиеся врачебной деятельности Антона Павловича. Екатерина в 20-е гг. принимала активное участие в литературной жизни, писала стихи.

В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Успехи математических наук» (№ 3 за 1979 г.), П. С. пишет: «Зимой 1915—1916 гг. при одной из своих кратковременных поездок в Москву А. Р. Эйгес познакомил меня со своей младшей сестрой Екатериной Романовной и двумя (тоже младшими) братьями, из которых один был художник, а другой окончил Московскую консерваторию как пианист, но стал заниматься литературой. Оба брата и сестра жили вместе, снимая квартиру в одном из переулков Новинского бульвара. Постоянно у них бывал В. В. Степанов, а также пианист, ученик Игумнова Исая Добровейн, впоследствии известный дирижер».

Три упомянутых имени заслуживают хотя бы самого краткого комментария. Вячеслав Васильевич Степанов (1889—1950) — математик, большой друг П. С., светлая и благороднейшая личность (по мнению всех, с кем мне довелось о нем говорить), впоследствии (с 1946 г.) член-корреспондент Академии наук СССР, директор Института математики при мехмате. Он еще появится в нашем рассказе. Константин Николаевич Игумнов (1873—1948) — исключительная фигура в культурной жизни 20-х—30-х гг. (наряду с Головановым, Неждановой, Качаловым и другими), наследник традиций Чайковского и Танеева, замечательный пианист и педагог, один из создателей русской фортепианной школы. В галерее портретов, висевших в комаровской столовой, рядом с Пушкиным, Гоголем, Гете, Дмитрием Федоровичем Егоровым — портрет Игумнова. П. С. был его ревностным поклонником. Имя И. А. Добровейна (1894—1953), дирижера, пианиста, композитора, было широко известно благодаря воспоминаниям Горького о Ленине: Горький привез к последнему Добровейна, и тот сыграл ему «Аппассонатату», вызвав знаменитую тираду Владимира Ильича о том, что он не может слушать Бетховена, ибо его это расслабляет, и хочется гладить людей по головке, что противоречит его революционному духу.

Но продолжим воспоминания Павла Сергеевича.

«В Московском доме младших Эйгесов я сделался постоянным гостем, и это продолжалось до самого моего отъезда из Москвы в Новгород-Северский (летом 1918 г.). Особенно хорошо за это время я познакомился с Екатериной Романовной. Когда я осенью 1920 г. вернулся в Москву, это знакомство возобновилось с прежней теплотой. Но за 1918—1919 гг. в жизнь Екатерины Романовны вошло новое лицо, и им был Сергей Есенин».

После смерти Павла Сергеевича А. Н. Колмогоров просил своих учеников разбирать комаровские архивы. И однажды (весной 1983 г.) Александр Михайлович Абрамов — ученик Андрея Николаевича и многолетний его сотрудник в делах, связанных со школьной математикой (ныне он директор МИРОСа — Московского института развития образовательных систем), обнаружил в столе П. С. машинописную копию воспоминаний, в которых упоминался Есенин. Здесь же была прикреплена фотография молодой девушки — да позволено будет мне высказать свое мнение — необыкновенной, удивительной привлекательности.

Это была не любительская, а профессиональная фотография, выполненная скорее всего настоящим мастером фотографического портрета. На фотографии, как выяснилось, была изображена Екатерина Романовна Эйгес.



Е. Р. Эйгес. 1920-е гг.

Нелегко выразить словами впечатление от поразившего меня ее облика. Могу ли я назвать ее красивой? Не знаю. Но не это особенно тронуло меня. Скорее что-то иное: одухотворенность, какая-то потаенная глубина и печаль.

Воспоминания Е. Р. Эйгес опубликованы в «Новом мире» (№ 9, 1995 г.). Трогательные, очень деликатные воспоминания. Насколько я могу судить, имя Екатерины Романовны до этой поры не было известно есениноведам. И для ее отношений с Есениным еще не подобрано слова. Но каковы бы они ни были, они не могут бросить на нее тень.

В наше бесцензурное вольное время принято «называть вещи своими именами», рубить с плеча, прямо, как говорится, «по-стариковски», в таком духе, скажем: «NN — любовница такого-то» или «SS — третья жена такого-то»... Никаких иных «терминов» для обозначения взаимоотношений мужчины и женщины, пожалуй, сейчас не существует. «Приятельница», «подруга», «близкая знако-

мая», «вдохновительница», «муза» и пр. — если вы попытаете употребить одно из этих слов или словосочетаний, вы рискуете быть поднятым на смех: «Что, они, потвоему, в шашки играли, что ли?». В прежние времена приходилось говорить изощреннее. П. С., рассказывая о романе своего коллеги с его ученицей, формулировал это так: «И в конце концов их научные контакты достигли высшей стадии своего развития». Для отношений Есенина и Екатерины Романовны Павел Сергеевич употребил деликатное выражение: «вошло новое лицо — Сергей Есенин».

«Екатерина Романовна, — продолжает П. С., — мне показала толстую тетрадь, всю испещренную пометками, собственноручно сделанными Есениным. Тут были и отдельные критические замечания, но были и целые строчки, подчеркнутые рукой Есенина с им же предложенными измененными вариантами.

К сожалению, эта тетрадь, которая, несомненно, представляла бы интерес для литературоведов — специалистов по Есенину, безвозвратно погибла».

И тут же речь заходит о единственной личной встрече всех действующих лиц этого повествования. «В начале или в середине марта 1921 г. Екатерина Романовна познакомилась со мной, и мы провели часть вечера вместе. Сколько времени продолжалось это свидание, я не помню. Но оно запало мне в душу: я почувствовал Есенина как человека, мне кажется, я почувствовал его мягкость, нежность и какую-то незащищенность».

... Когда я искал слова для описания облика Екатерины Романовны, мне хотелось употребить те же слова: «мягкость, нежность, какая-то незащищенность».

2 апреля 1921 г. Павел Сергеевич «вступил в брак с Екатериной Романовной Эйгес. Брак этот не был удачным, — пишет Павел Сергеевич на склоне своих дней, — и заключение его было ошибкой. Екатерина Романовна была человеком, созданным для семейной жизни, я же к этой жизни был вовсе не приспособлен».

Есенинская нить не оборвалась в душе Павла Сергеевича с расторжением брака. Но прежде, чем продолжить, я хочу завершить тему Е. Р. Эйгес.

Павел Сергеевич говорил мне тогда, что Екатерина Романовна окончила Высшие женские курсы у А. А. Эйхенвальда — выдающегося физика, академика, в 1920 г. покинувшего Россию. (Кстати сказать, в своих воспоминаниях, опубликованных в «Новом мире», Е. Р. пишет, что окончила и математический факультет 2-го МГУ.)

«Но физикой она, — продолжал П. С., — не стала заниматься, а работала по библиотечному делу. После меня Е. Р. вышла замуж за какого-то библиотечного работника. Брак тоже оказался не очень счастливым. Она умерла в 1958 г. от неудачно проведенной операции. Я так и не смог проститься с ней, так как был в это время в Западной Германии, в последней своей длительной заграничной командировке».

При написании этой статьи мне посчастливилось побеседовать с Людмилой Григорьевной Чудовой, племянницей Екатерины Романовны и «историографом» семьи Эйгесов. Она уточнила: мужем Екатерины Романовны был очень крупный, известный библиограф — Николай Иванович Пожарский. Брак был долгим и вполне благополучным. Екатерина Романовна умерла в 1961 г. от рака. Она похоронена на Введенском кладбище. На могильной плите ее написано «Эйгес Екатерина Романовна», хотя до конца жизни она носила фамилию Александрова.

Павел Сергеевич сказал мне во время нашего разговора, что он не порвал отношений со своей бывшей женой, оказывал ей материальную и моральную помощь. Он рассказал также, что в Екатерину Романовну был безнадежно влюблен Вячеслав Васильевич Степанов. Но, как выразился П. С., «Вячеслав Васильевич принадлежал к тому типу мужчин, которые не могут рассчитывать на то, что станут предметом страстной женской любви. И Екатерина Романовна абсолютно твердо и непреклонно отвергла его притязания на брак с ней, оставив его при себе как верно-го, безаветно преданного ей друга. С ним она делилась горечью своей неудачной жизни со мной и всеми своими последующими горестями».

Но вернемся к Есенину. Во время все того же разговора речь зашла о поэзии, о любимых поэтах. Мы стали называть своих самых-самых любимых. И наши «списки» почти совпали. Александров назвал Пушкина, Тютчева, Блока и Есенина, в моем списке вместо Тютчева была Ахматова.

Крайности сходились, и человек совсем из другого мира имел открытую душу для восприятия есенинской лиры. П. С. с большим чувством прочел: «Мы теперь уходим понемногу», включая и «счастлив тем, что целовал я женщин, мям цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».

П. С. рассказал, как, будучи в Голландии, наутро после встречи Нового года, прочитал сообщение о смерти Сергея Есенина, как горько оплакал он его в душе.

Он говорил: «Мне повезло в жизни: на всем ее протяжении я был окружен достойными, благородными людьми, по отношению к которым я испытывал чувства любви и благодарности. Я могу припомнить только трех людей, которых я откровенно не любил». Не буду называть всех. Допускаю, что в других обстоятельствах П. С. назвал бы другие имена. Назову одно только имя — имя женщины, с которой П. С. никогда не был знаком, по-моему, даже не видел ее никогда. Этой женщиной была великая артистка, потрясавшая своим искусством сердца тысяч людей, та самая «женщина сорока с лишним лет», имя которой неразрывно связано с именем поэта, — Айседора Дункан. «За что?» — вырвалось у меня. «За то, что она *сгубила* Есенина». Не могу припомнить, мотивировал ли П. С. это свое суждение. В воспоминаниях его жены не сказано ничего дурного о Дункан. Да они и не были соперницами: Дункан появилась в жизни Есенина уже после того, как жизненные дороги поэта и Екатерины Романовны тихо разошлись. Но помню: приговор Павла Сергеевича обжалованию не подлежал — сгубила Есенина.

И еще. Юрий Михайлович Смирнов как-то говорил мне: он слышал от П. С., что стихотворение Есенина «Письмо к женщине» («Вы помните, Вы все, конечно, помните...») обращено к Екатерине Романовне Эйгес и что «живете Вы с серьезным, умным мужем» относится к самому Павлу Сергеевичу! Не уверен. И облик Е. Р. на фотографии, и тон ее воспоминаний не увязываются в моем сознании с образом разгневанной женщины, «что-то резкое» бросавшей в лицо поэту. Общепринятое мнение — стихотворение адресовано Зинаиде Райх. Но тогда «серьезный, умный муж» — это Мейерхольд? Нет никакого сомнения в том, что Мейерхольд был серьезен и умен, но чтобы *именно так* его характеризовал Есенин? И потом, вряд ли лишь одна женщина послужила прообразом героини стихотворения. Словом, как говорится, есть о чем подумать. («Хороший тон» для математика — в конце статьи «поставить проблему».)

И последнее. У Павла Сергеевича был большой друг, психиатр, Петр (не помню отчества) Зиновьев (Павлу Сергеевичу нравилась мысль о том, что высшие интеллектуальные достижения обязательно связаны с некими психическими отклонениями, и потому он очень жаловал науку психиатрию и любил общаться с психиатрами). Зиновьев был лечащим врачом Есенина, когда тот лежал в больнице Ганнушкина осенью 1925 г. Зиновьев показывал Павлу Сергеевичу дерево, которое видел Есенин из своей палаты. Оно послужило образом для стихов, проникновенно процитированных Павлом Сергеевичем:

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?

Круг замкнулся: от «Кому повем печаль мою?...» до «Кто же сердце порадует, кто его успокоит?...»

Если такие вопросы задаются, ответ подразумевается: «некому» и «никто». Нет, не так: ведь существует поэзия! Ведь жили же они и творили для нас — Пушкин, Тютчев, Блок, Ахматова и Есенин!

Д. А. АЛЕКСАНДРОВ

ИСТОРИЯ НАУКИ ДЛЯ ИСТОРИКОВ НАУКИ, ИЛИ СЛОВО О ПОЛЬЗЕ ОБРАЗОВАНИЯ АСПИРАНТОВ

Не будет оригинальным утверждение, что наша дисциплина находится в очень трудном положении по сравнению со многими другими. Нигде не готовят историков науки и техники в том же смысле, в каком готовят историков-медиевистов или инженеров-электронщиков. Единство дисциплины и дисциплинарного сообщества в истории науки много ниже, чем в любой естественнонаучной дисциплине. Речь не идет об отсутствии единой парадигмы: как мне кажется, достоинство истории — в разнообразии подходов и отсутствии парадигматического строения знания. Речь идет о более простом — историки разных научных дисциплин не имеют общего языка, не понимают и чуждаются друг друга не меньше, а может быть, и больше, чем представители самих этих дисциплин.

В то же время легко обнаружить, что американские и российские историки науки также зачастую не понимают друг друга, говоря на разных языках. Многие понятия — «научный дискурс», «моральная экономия», «символический капитал» — и весь современный язык общественных наук в целом оказывается чужд большинству отечественных историков. Те, кто освоил этот язык, сделали это на свой страх и риск в порядке самообразования. Не различия русского и английского языков разделяют историков двух стран, а различия проблематики и дискурса истории науки в этих странах.

Как историки мы знаем, что оформление дисциплины связано с появлением общего языка, на котором говорят ее представители, — языка теоретических и эмпирических описаний, языка повседневной лабораторной практики и т. п. В этом отношении дисциплина или научное направление представляют собой единое дискурсивное сообщество. Мне не раз приходилось наблюдать, как математики разных специальностей и направлений находят общий язык при обсуждении если не узких научных проблем, то вопросов преподавания тех или иных областей математики.

Общий язык вырабатывается на основе институциональной общности, и, как понятно, решающим фактором его формирования оказывается наличие не научных институтов — систем по производству знания, а систем воспроизводства и обучения — факультетов, кафедр, учебников и журналов. Журналы, помимо коммуникативной, имеют выраженную образовательную функцию — они служат воспроизводству норм дискурса и научных «парадигм», в смысле образцов для подражания. На нашем собственном примере мы можем видеть относительную значимость элементов, формирующих дисциплину. В нашей дисциплине у нас есть научный институт и есть журнал, но нет устоявшейся системы подготовки новых историков науки и техники.

Молодые историки приходят из разных дисциплин и специальностей с уже солидным специальным образованием, будь то образование философа, инженера, историка или биолога. Обычно и тема диссертации подбирается в соответствии с